

ТУНИС

Крымская история

Всё придумала она, Анна.

Ей нравилось, что он – Нехлюдов, что он бреется бритвой “Шарп”, что он богат и немного заика. Она сразу заметила его белую панаму – такую нелепую в Ялте – в пёстром окружении шляп, картузов и фуражек.

Она даже остановилась, чтобы разглядеть его лучше. Такого растяпы Анна ещё не видела. Присев на краешек парапета, он неловко пытался открыть бутылку пива авторучкой “Паркер”.

Ему было очень неловко: шипящие язычки пены, свистя, вырывались из-под неподдающейся пробки и стекали прямо на его белые брюки.

Она открыла сумочку и, улыбаясь, молча протянула ему связку ключей. Ей даже дурно стало от того, какой неземной кролик попался в силки.

«Анна, – сказала она, пытаясь подавить волнение ловца, – а вы женаты.»

Взгляды их встретились. Глаза у него были неопишуемые – чёрные, лучистые, влажные. В аккуратно подстриженных щёгольских усиках пробивалась седина – с одной стороны, с правой.

«Нехлюдов», – робко, даже как-то встревожено, представился он, никак не попадая изуродованным “паркером” в нагрудный карман.

«Олег, наверное, – мечтательно произнесла Анна, смотря вдаль, на сияющее ожерелье Массандры, – жена и дочка приедут через три дня. Для них бронирован душный люкс в “Ореанде”. По утрам они сидят в шезлонгах, томно развалясь, и читают Чехова. Впрочем, нет, не Чехова – Чейза...»

Анна рассмеялась – легко и просто, так, чтобы у него пропал страх. Была она белокурой, с ямочками. Смуглая, почти креол.

«Ну, в общем-то, сын... – в ответ засмеялся он, – но в остальном...»

«Абсолютно ничего сложного, – чуть надменно заметила Анна, – подержите собачку».

«Какую собачку?» – не понял Нехлюдов.

«Во-о-бра-жа-е-мую, – продолжала игру Анна, – вы знаете, как здесь говорят? Юх! Они говорят, представляете, юх! А как они называют даму с собачкой?! Нехлюдов, заткните уши – “дывчына с кабыздохом”!»

Анну несло. Она чувствовала то, что больше всего любила – его и н т е р е с, его слегка затрепетавшее либидо, его уже не случайную и не праздную нервность, его скрытую под белыми брюками нервную плоть.

В ресторанчике, под длинными тенями (уже смеркалось), сидя над терпким бокалом, он наконец разговорился.

Олег Иванович Нехлюдов. Имеет жену, имеет сына. Чем-то управляет в банке. Конечно, из Москвы, но больше любит Малаховку, дачу, рыбалку, ягоды да грибы. Времени не хватает, всё чем-то занят, баланс.

Анна быстро перестала его слушать, не слишком боясь упустить что-то важное, сложное. Нет, не для этого придумала она это всё, Анна. Три дня, душный, почти бездыханный “люкс” в “Ореанде”, глупая, никому не нужная любовь на четвереньках у поверженного шезлонга. А Дамы нет. Есть две собачки.

«Довольно!» – сказала себе Анна и одним махом осушила бокал с его липким, глупым вином.

«Довольно! – громко сказала Анна, пристально глядя в его наполняющиеся давешним страхом неопишуемые глаза, – э т о г о не будет! Я не буду целовать вас, Олег, возле памятника Чехову, я не буду плавать с вами в пунцовом купальнике на гидропедке, я не собираюсь так же танцевать в чём мать родила на стойке полночного бара и делать вам каждые полчаса минет в оливковой роще на Поликуровском кладбище. Если не так – до свиданья. Здесь придумываю только я, Анна».

Трудно было адекватно описать состояние Нехлюдова. Он одновременно и остолбенел, и ожил. Да, конечно, если начистоту, то так и должно было случиться: и шезлонг, и четвереньки, и гидропед, и даже оливковая роща. Ведь он не первый раз в Крыму. Он даже любил это – изменять жене ровно за три дня до её приезда. Пунктуальность управляющего, что делать. И вдруг белокурая, с ямочками, почти креол. Какие-то воображаемые собачки, “дывчына с кабыздохом”. Чёрт!

«Так чего же ты хочешь?» – хрипло спросил Нехлюдов, пытаясь нахмуриться. Ему понравилось, как он грубо, “по-мужски”, перешёл на “ты”.

Как она ждала этого мига, как надеялась на него! Неземной кролик в прочных силках ловца. Ему не выбраться, братец Лис. Он потрясён, он встретил женщину, которая хочет чего-то не т а к.

С каким равнодушием она смотрит на его холёный белый палец с бриллиантом, как нелепа эта бутылка “Чёрного Доктора” между ними. Чёрный Доктор – это она, Анна. Она пьянит и опьяняет. Только она даёт жизнь и не даёт жизни.

«Слушай, Нехлюдов, – совсем близко, смешав дыханья, наклонилась Анна, – это час твоего и моего торжества, это минута нашей судьбы. Отсюда и только отсюда мы выйдем в море, полное чудес и озарений. Мы переплывём этот негостеприимный Понт, пройдем Дарданеллами и Мраморным морем, обогнём Пелопоннес и возьмём курс на таинственно мерцающий вдали Тунис».

Глаза Анны источали яростное вождение и восторг. Никогда в своей жизни клерка Нехлюдов не видел такого. Дрожь непонятого, томительного озноба пробежала по его спине.

«У тебя есть деньги, – горячо продолжала Анна, – брильянт на пальце, “паркер” в специальной коробочке и много, много, много огромного желания. Запомни, ты встретил ту, с которой ещё успеешь убежать, ту единственную, которая полюбит тебя в Тунисе».

«Она сумасшедшая, а я, кажется, пьян», – пытался прийти в себя Нехлюдов, но слова этой женщины волновали его по-настоящему, дико. Язык его высох, а рот был нем, словно у ловца жемчуга.

«Сейчас уже второй час, – сказала Анна, взглянув на Луну, – и сейчас нам пора отправляться в путь. Там, вдали, у второго

причала, стоит “Тритон”. Вся команда пирует на берегу в “Кривом Якоре”. На яхте лишь один капитан, но он в доску пьян и вряд ли проснётся до утра».

«Мы угоним яхту?» – не своим голосом спросил Нехлюдов.

«Конечно. И если потребуется э т о, – произнесла Анна, доставая из сумочки миньютюрный револьвер, – то используем э т о».

Анна торопила Нехлюдова. Спеша, они зашли в его гостиничный номер, наскоро собрали дорожный несесер и по лунной мостовой направились в порт.

На “Тритоне” все огни были потушены, тлел лишь тусклый фитилёк радиорубки.

«Я никогда не управлял яхтой», – промямлил Нехлюдов, ползком пробираясь по трапу.

«Это проще, чем открыть “паркером” бутылку», – улыбнулась Анна.

Оказавшись на яхте, она быстро и чётко отдавала команды.

Нехлюдов, почти не понимая, что и зачем делает, носился как юнга с кормы на нос и обратно.

Вскоре произошло чудо. Яхта плавно отошла от берега и, издавая спокойный равномерный ночной шум, устремилась в самое сердце ночи.

Теперь они стояли рядом – на капитанском мостике. Нехлюдов держал штурвал, а Анна, вонзившись губами в серебряную сигаретку, отдавала отрывистые приказы.

«Вот теперь ты стал тем, кем только казался. Н а с т о я щ и м у п р а в л я ю щ и м. Ты управляешь яхтой, этой ночью, миром, ты управляешь мною, Нехлюдов. Вот когда ты должен любить меня на четвереньках у шезлонга...»

То, что произошло потом, Нехлюдов помнил всю жизнь. Тот пьяный капитан был, видимо, решительный противник Туниса. Он слишком мало выпил, тот капитан. Его рука не дрогнула. Нехлюдов никогда не слышал выстрела так близко...

Инстинктивно, не зная зачем, он бросился вперёд, сшиб и подмял под себя яростно сопротивлявшегося человека. Нехлюдов был крепче. Заметив, что капитан не шевелится, он, пошатываясь, вышел на залитую луной палубу.

«Анна, Анна!» – позвал он.

Но никакой Анны на палубе не было.

ЯЗЫКИ ЛЮБОВНИКОВ, ПАХНУЩИЕ САКЭ

Первая японская история

Я плачу пятнадцать монет и получаю взамен кусочек дерева, заменяющего билет.

Гейша в зелёном кимоно, белых перчатках и очках в роговой оправе подаёт мне подушку и маленький поднос с чайником. Лицо её, одновременно и якутское и мордовское, отражается в фарфоре и становится тысячеликим.

“Ёсе” – чайный домик. Шестеро японцев полощут опиум с примесью жасмина и жжёного сахара.

На секунду створка ширмы открывается – озабоченная Нацуко ищет меня. Она уже в гриме. Брови её стали выше, губы выкрашены и ярко-пунцовы. Увидев, она машет мне узкой перчаткой. Сейчас дадут драму.

Интерьер “чайного домика” прост, как внутренность циркового барабана. Вдоль стен, перемежаясь, стоят белые и красные лампы. С них свисают длинные фальшивые ветки сакуры. Сцена мала и пуста, и лишь у самого задника приловчился ящик, обитый фольгой.

Уют и позолота напоминают мне старую рождественскую открытку, подаренную отцом.

Плешивые огоньки. Ёлка, подмигивающая вечности красными, жёлтыми и изумрудными огоньками. Под ёлкой – неказистый шоколадный шелкунчик. Это мой отец. Маска фольги на его лице сияет. Сияют также бурые рукавицы и мешок, в котором спрятаны известные дары: игрушечное ружьецо с леденцовым прикладом и сахарными пулями, иерихонская дудочка, способная разрушить карточный домик, стеариновая лошадка с замаскированным фитильком.

Бьют часы, сработанные из печатного пряника, ружьецо палит по бумажным снежинкам, во всю мощь дудит иерихонская дудочка, встаёт на дыбы и бьёт стеариновым копытцем лошадка с острым фитильком в гриве. Начинается понятная и много раз сбывавшаяся жизнь:

Цветы изобретают вальс.

Мышиный Король обречён.

Щелкунчика спасает Уродина.

С потолка, поглощая полсцены, спускается чёрное хищное полотно с иероглифом. В нём скрыто имя гитайо – певца, выступающего первым. Гитайо

исполняет гундан. Гитайо стар, но с молодой мокрой кожей, блестящей, как бивень. Голос его вибрирует то, как осиный рой, то, как полёт бумеранга. Там, где сюжет закручивается в узелки авантюры и событий, гитайо громко и сочно бьёт себя по острым коленям двумя ослепительными веерами.

В деревне, на севере, живёт старик. Он одинок, и никто не греет его ног. Никому не нужен его титаник, спрятанный в складках шёлковых панталон. Никто не трогает его мохнатых бровей. Никто не промокает влажных глаз подолом пёстрой нагойской юбки. Целыми днями смотрит старик в окно. Но ничего не видит в окне.

Гитайо почти умер. Глаза его закрыты, и из них текут слёзы.

И вдруг – оба ослепительных веера подняты вверх, голос обретает красоту и высоту кипариса. Старик получил письмо. Это письмо от девушки. Она ждёт его в Беседке Желаний на берегу Ручья Удовольствий. На сцену выбегает, снаряжённая деревенской простушкой, Нацуко. Она размахивает руками, подпрыгивает и теребит живот. За нею, бесшумно подкравшись, выскакивают два музыканта. Их сямисэны оглушительно какофонят.

Беседка. Старик. Девушка. Старик и Девушка. Девушка и Старик. Он целует её в грудь. Она кормит его рисом. Она кормит его грудью.

Жизнь вырывается наружу, как бенгальский, как антонов огонь. Жизнь вырывается наружу, как феерия конфетти, как веснушки на лице Девушки, как веснушки на лице Старика, как веснушки на лице Будды.

Жизнь – вырывается. Она хохочет, как хохочет прикинувшийся мёртвым, как хохочет вдова, которая во сне трахается с умершим мужем.

Лопаются белые и красные плафоны “чайного домика”, по фальшивым веткам сакуры взбираются языки любовников. Они раздвоены и розовы, языки стариков и дев, гейш и тамбуринов, пажей и цариц, уродов и красавиц, цыган и цыганок, политиков и шахматистов, начальников поездов и тюрем.

Чешуйки розовой пены. Властные губы Нацуко, целующие желтомордый Нарцисс. Сосок проткнут серебряным иероглифом. Слева – ян, справа – инь.

Я выдою всё молоко твоего “иня”. Ты станешь суха, как засуха.

Бей же, бей этого старика по его острым, хитрым коленям. Он жил сто

жизней, он видел веснушки на лице Будды, он вился ящерицей на могиле твоего отца, он был павианом, камнем, трепангом, беседкой, в которой сидит.

Павиан с оторванной задницей. Трепанг, у которого поехала крыша.

...Губы Нацуко и её щёки, цветущие пышным туберкулёзным цветом.

Языки любовников, пахнущие сакэ...

Старик, ты умер?

Япония между ног.

ДАМА КОЗЬЯ НОГА

Испанская история

В моей памяти возникает траншея, обветренные губы маленькой Розы и её шепот, полный нежности и болезни.

Бабушка Маринэ рассказывала о легендарной Амуэз, большим волшебством породнившей их род со знаменитыми грандами Аль-Косе. Мне не передать детского рассказа Розы, и в моём воображении разыгрывается сцена такой, как мог бы описать её великий Эркулано.

«Несчастья этого рода, по жизни даже плодovitого, начались с того, что первый неудачный предок фамилии – дон Чезаре полюбил охотиться в Андалузии на карликовую газель.

Не требуя от охоты большего, чем просто загнать пару своих мустангов сиреневого отлива, дон Чезаре подстреливал к обеду пару специально подбрасываемых для него пулярок, откормленных грецким орехом, и, сделав “пиф-паф” по давно стреноженной газели, смело отправлялся в родовой замок Аль-Косе, где предавался плотной трапезе и вину под громкие вопли девушек с тамбуринами.

Чезаре был ещё молод, но уже пристрелил двух сарацинов, чьи высохшие головы красовались на въездных воротах.

Словом, Чезаре Аль-Косе жил как полагалось, имел эфиопку для забав и лениво засматривался на свою ближайшую соседку Инессу Хесус Марию Брабант.

Внезапно произошёл случай, прискорбным образом переменивший молодую жизнь гуляки и гранда.

Однажды дон Чезаре, слывший большим любителем зелёных оливок с косточками, по неосторожности ли, по наваждению ли, отведав деликатеса, глубоко подавился. Глаза его тотчас вылезли из орбит, дыхание обратилось в хрип, цвет лица приобрёл зловещий оттенок. Все попытки

домашних лекарей оказались тщетными – косточка глубоко зашла в горло, что грозило дону Чезаре неминуемой гибелью. Слуги сбились с ног. Мать донна Чезаре – Донна Агриппина Секунда порвала на себе одежды, обнажив тощие гуттаперчевые груди, но не помогло и это. Кузен Чезаре, дон Хуан Пигмалион, что есть силы хватил его оглоблей и едва не лишил жизни. Но проклятая косточка не выходила. От несчастного по очереди отвернулись святой Бонифатий, святой Бартоломео, святой Себастиан и святая Анна.

И вот, когда, казалось, гибель молодого гранда неминуема, из боковой калитки явилась престранного вида девица, по обличью и одеждам своим напоминавшая барселонскую цыганку. Волосы её, чёрные и жёсткие, как проволока, никогда не знали гребня и вились как у Горгоны. В них запутались острые виноградные листья.

«Я спасу его, – выкрикнула цыганка с той грубой силой, которой можно только повиноваться, – но он будет мой».

Сказав это, она подошла к оливе, росшей посреди атриума, и сочно плюнула в её крону. В тот же миг из начинавшей сереть пасти донна Чезаре выскочила проклятая косточка.

Делать было нечего – слово было дано. Четыре дня спустя Аль-Косе предавался пьянству и веселью, празднуя второе рождение. Невеста, однако, не пожелала даже переменить платье и оставалась всё время в своей простой «стол», прочно прикрывавшей всё её тело вплоть до тяжёлых кожаных сандалий.

Дон Чезаре не остался равнодушен к своей спасительнице. Амуэз Роза Горгон – так звали цыганку – понравилась ему. Чёрные глаза, смуглая кожа, стройный стан, высокая грудь и, надо полагать, ещё много-много горячей страсти.

Наконец, когда все изрядно выпили, закусили и натешились фламенко, молодых повели в опочивальню.

Донна Чезаре распаляла похоть. Он готов был овладеть Амуэз прямо на лестнице. Но не прошло и часа, как за молодыми закрылись створчатые двери, фамильные своды Аль-Косе огласил жуткий вопль. Вбежавшей прислуге открылась ужасная картина. Дон Чезаре лежал бездыханным на ложе любви, а по его распростёртому телу скакала полуженщина-полугазель. Смуглые ножки её оканчивались острыми копытцами.

Истово крестясь, слуги попятнулись к лестнице. Дьяволица газель дико смотрела на них, и в её огромных очах бушевал пламень.

Немного опомнившись, иные из слуг сделали попытку приблизиться, на что грозная Амуэз скакнула с постели на пол и, сделав рукою чудовищный пасс, произнесла голосом, уже ничем не напоминавший человеческий:

«Он дал мне клятву и он мой. И жизнь, что только что завелась у меня под сердцем, тоже моя. Никогда, заклинаю, не ищите нас. Но наш род никого не оставлял без благодарности. Идите же к той оливе и возьмите то, что теперь принадлежит вам».

С этими словами Амуэз с невиданной силой обхватила шею лежащего дона Чезаре и без видимого усилия увлекла его в растворившиеся сами собой окна. Мгновение – и опочивальня была пуста.

Опешившие от неожиданности слуги сначала бросились на колени и стали истово креститься, но, видя, что новобрачные исчезли, кинулись вниз, к роковой оливе.

И чудо представилось им. Освещённая со всех сторон факелами олива вся переливалась чудесным светом, а зелёные ягоды её, едва созревшие, превратились в золотые...»

Я смотрел на маленькую Розу, на её вдохновенное лицо, и мурашки бегали у меня по коже. Я ведь точно знал: опустив глаза, я увижу под детским платьицем маленькие смуглые ножки, оканчивающиеся узкими, как тупельки, остренькими копытцами.

ОШИБКА ЧТЕЦА

Вторая японская история

Нацуко, Нацуко... Сакэ через трубочку. Любовь через трубочку. В переводе твоё имя означает “летний ребёнок”.

Когда-то я жил в Москве и сочинял Вальсы. Да, да мне так и хотелось – всегда писать Вальсы с большой буквы. Видимо, потому что “Вальс” всегда напоминал о Штраусе, Штраус напоминал страуса, а страус – птица большая.

Вальсы “скрыпели” под моим пером. Каждый сочинитель Вальсов знает, как “скрыпят” под пером ноты. И если Штраус прославился “Голубым Дунаем”, то я размахнулся “Голубой Индигиркой”.

Нацуко, смеясь, бьёт меня по губам тростниковым веером. Мы лежим на

огромной перине в третьеразрядном отеле на Мюльштрассе. Я пью сакэ через трубочку маленькими тёплыми глотками, а Нацуко распаривает лезвия для срезания мозолей. Скоро придёт её Старик. Он отплясывает на сцене в тяжёлых японских сабо, и после каждого выступления пятки его становятся тверды, как черепаший панцирь.

«И где теперь твои Вальсы?»

«Там же, где и Штраус».

«Я тоже знаю один вальс. Вальс “Каприз”».

Внезапно Нацуко резко вскакивает с перины, хватает дымящийся таз и начинает носиться по комнате, изображая вальсирование. Халат с золотым горошком плавно распаивается, и на свет божий показываются прелести юной Японии.

Глядя на Нацуко, я зачем-то вспоминаю величавого Чандрагала, восседающего в своей бакалейной лавке и неспешно рассказывающего о том, как надо правильно отправить покойника на тот свет.

«Чтец, – говорит Чандрагал, читая заупокой, не должен прикасаться к голове умершего. Ибо дух Будды должен выйти на волю только через макушку. Если же чтец невзначай коснется уха покойника, душа того выйдет сквозь ухо – и всё начнётся сначала. Спервоначала душа окажется в стране “гандхарвов”, духов, которые населяют музыкальные инструменты – разные там флейты, тимпаны, гандуры. В этом невещественном состоянии душа опять проживёт жизнь и лишь только затем родится в исходном месте – мире людей, чтобы, умерев и там, вновь вернуться на смертное ложе. Такова цена ошибки чтеца».

Чандрагал прикладывает к кальяну и пускает по лавке густой ароматный клуб.

Я суеверно прикасаюсь к уху, затем встаю, но прежде чем выйти, подхожу к Чандрагалу и трогаю его за плечо.

«Я напишу завещание на твоё имя. И в нём будет только один пункт: после моей смерти прошу проследить, чтобы каждую из моих ушных раковин плотно заткнули беруши».

Очередной клуб дыма скрывает от меня трясущуюся бороду Чандрагала, а потом видение оглашает ужасный звук падающего таза и истошный крик Нацуко, обварившей Вальс.

СКАЗАНИЕ О БЕЗГОЛОВОМ СИЛЬВЕСТРЕ

Немецкая история

1. *Ночная арабеска*

Мюнхен. Кафе “Шиллер”. Кружка тёмного пива и туалет в подвале. Трое педрил. Они ждут, когда ты подойдёшь к писсуару и вытащишь свой титаник. Но ты заходишь в кабинку и закрываешься на крючок. Мучительная пауза и вздох разочарования. «Горе, горе, горе!» – жалобно воют геи, с надеждой взирая на крутую лестницу, по которой спускается толстый бауэр с отрыжкой.

Стены “Шиллера”. На них фотографии в тёмных и коричневых рамах. Никакой общей идеи. Вот Армстронг выпучил шоколадные очи, выдувая из тяжёлого горла раскалённый сакс. Чуть поодаль, снабжённый высохшим букетом маргариток, Liebe Adolph жмёт руку толстой пловчихе, с блеском выигравшей первенство бундеслиги.

Сильный грохот отвлекает меня от стен. Пьяный бауэр падает с лестницы прямо в жаркие голубые объятия. В подвал спускается полицейский. Я возвращаюсь к своему пиву. Педрилы с визгом бегут из подвала. У выхода они едва не опрокидывают молодого араба. Араб чешется и что-то лопочет. Он не по-арабски пьян. Его здесь все знают. Да и кто не знает Ибрагима Аль-Хорезми, единственного сына посла Омана, Абдуллы Тулуз-Лотрека.

Внимание Ибрагима привлекает стеклянный аппарат, доверху набитый висбаденскими игрушечными сильвестрами. Араб достаёт горку мелочи и начинает аккуратно выуживать игрушки. Вначале ему не везёт. Непокорные сильвестры никак не хотят ловиться на крючок, хватающий их за колпаки и шубки. Ибрагим приходит в неистовство. Он громко прищёлкивает, руки его трясутся в азарте, глаза подёрнуты наркотической пеленой. Монеты одна за другой исчезают в хищном провале. Но вот дело пошло. Сильвестры начинают попадаться на удочку. «Сильвестра! Сильвестра!» – неистово кричит араб, рассыпывая игрушки по карманам и притоптывая. Всё нетрезвое пивное общество привлечено этим экстатическим иллюзионом.

Наконец, истратив все свои марки, Ибрагим достаёт из аквариума последнего сильвестра. Шатаясь, он идёт к двери, роняя на ходу игрушки и не замечая этого. Я подхватываю бордового человечка и выхожу следом. Некоторое время мы быстро идём по Шиллер-штрассе, затем сворачиваем в

переулок. Я, не зная зачем, преследую его. Острое чувство незавершённости переполняет меня. Интуиция не подводит. Когда я сворачиваю в глухой двор, он бросается из своей засады, устроенной возле мусорного бака. В руке Ибрагима изогнутый серебряный полумесяц. Он промахивается совсем чуть-чуть, и его нож летит мимо. «Сильвестра! Сильвестра!» – истошно кричит араб. Некоторое время мы молотим друг друга, не замечая боли. Снег вокруг нас покрывается мелким красным горошком. Наконец, что-то меняется в нём. Возможно, пришло время намаза. Совершив отчаянный прыжок, он скрывается в лазейку между домами.

Плащ мой порван и выпачкан кровью. Шарф валяется на снегу. Где же его сильвестры? Я подхожу к мусорному баку и осторожно приподнимаю тяжёлую крышку. Бак набит игрушками. Араб, видимо, приносит их сюда со всего города. У каждого сильвестра аккуратно оторвана голова. Маленький колокольчик, дребезжащий на шапочке. «Сильвестра! Сильвестра!» – вопиёт безголовая немчурка.

Под моей подушкой прилёг безголовый Сильвестр. Ты боишься его, Штеффи? Ах да, мой галстук изорван в клочья, и пятна крови на плаще. Это не кровь. Это красное вино лугов, это пиво пастбищ. Ты так редко видишь меня спящим. Я не сплю. Я сплю. Язык мой высох, а прежде с него капали чернила. Теперь они высохли, и не осталось ничего – ни чернил с чернильницей, ни зверского языка, которому был однажды обучен. Одежды мои пали, и оказалось, что не так уж они белы, как не столь бел череп у быстро лысеющего.

Достать свирель и свитер. Свирель – для крыс этого города. Все крысы уйдут, стигнут в мутной реке, где водится форель о трёх головах. Все крысы, летучие мыши, собаки, арабы, русские, вьетнамцы, турки, кнехты, бюргеры, – все замороженные трелью моей свирели найдут себе вечный покой на дне этого Мозеля или Ганга.

Постирай мой свитер, прочисти мою свирель.

Убей зелёную муху на лице Ганди.

2. *Краткая предыстория ночной арабески*

«Я, группенфюрер Сильвестр Крумм, бывший толстый баварский мясник, а ныне худой ливийский дервиш, сию сейчас в песчаном окопе, весь осыпанный москитами и неведомыми мне маленькими фосфоресцирующими жучками...»

Перечитав написанное, Сильвестр Крумм поморщился и вздохнул.

С одной стороны, повода для печали не было – мясницкое товарищество Мюнхена персонально ходатайствовало о том, чтобы их почётный председатель был направлен именно в Африку, а не на Восточный фронт.

С другой стороны, ужасы той дыры, в которую провалился Крумм, превзошли все его баварские фантазии.

Дивизии Роммеля настолько увязли в бесконечных песках Африки, что потеряли всякое представление не только о войне и мире, но и о западе и востоке, воде и хлебе, радости и тоске.

Англичане держали опорные пункты и караван-сарай, а по пустыне носились несметные полчища подкупленных ими вооружённых бедуинов, совершавших дерзкие налёты на отставшие немецкие части.

Вчера Крумм потерял своего последнего земляка – бывший кондитер Арнольд Топфер лишился жизни прямо на очке. Бедуин, как песчаная амфибия, подобрался снизу и насадил несчастного на пику, как вюртембергскую колбаску.

Бедуина звали Асаф Аль-Хорезми. Месяц назад в числе своих семнадцати братьев он вернулся из Мекки с горящим сердцем и просветлённой душой. И хотя двое из братьев погибли в столпотворении у Каабы, Асаф не впал в уныние. С каждым намазом сила его как воина Аллаха росла.

В военном лагере, где-то в Джибути, англичане научили его стрелять и метать гранаты. Взрывов Асаф сначала боялся, но, увидев как-то, что граната оставляет от неверного, ободрился и рвал чеку так, как если бы хотел приструнить зазнавшегося верблюжонка.

Когда кое-чему обученных новобранцев отправили на раскалённых катерах на север, вверх по Нилу, Асаф уже знал, что война в пустыне – верный джихад.

Андреас Мюллер, хозяйственная вошь батальона, глядя на измазанный дерьмом труп Топфера, заявил, что обмыть его нечем. Воду везли из самого Таманрассета, но вот уже третьи сутки, как транспорт не шёл.

Сжав кулаки и зубы, Сильвестр Крумм вышел из палатки Мюллера и пошёл за брезентом. В километре от лагеря, в выжженном артиллерией Аль-Аюне, находилась какая-то смрадная лужа – жалкое напоминание о давнишнем ливне. Пить эту кишечную бактериями воду было нельзя, но

для того, чтобы обмыть безучастное тело друга, она вполне годилась. Завернув труп в плотные складки брезента, Крумм медленно пополз в сторону Аль-Аюна.

Асаф знал эту плебейскую особенность неверных – мыть и отскабливать своих покойников. Поэтому, заколов одного из них прямо во время испражнения, он не минуты не сомневался в том, что убитого понесут в Аль-Аюн. От своего взводного, Газневи, он узнал, что у немцев совсем не осталось воды. Таким образом, его предположения блестяще оправдывались. Совершив вечерний намаз, он ещё засветло занял позицию у Кара-су. Именно так назывался вонючий арык на окраине Аль-Аюна.

3. Эпилог

Беднягу Сильвестра Крумма нашли в тёплой жиже арыка. Точнее, нашли корпус. Голова на теле Крумма отсутствовала. Зато в кармане его гимнастёрки нашли полное лирики последнее письмо к жене.

Письмо Сильвестра Крумма к своей жене, Лотте фон Таль.

«Хайль Гитлер, любимая. Как странно судьба разделила нас с братом. Я – в песках Африки, он – в снегах России. И только ты, которую так люблю я и так любит он, одна в нашем доме.

Я многое бы дал сейчас за то, чтобы увидеть тебя. И его. Больше всего на свете я желал бы примиренья. Какие обиды могут быть на войне? И всё же он ушёл на Восточный фронт с обидой в сердце. Ты стала моей невестой, а не его. Это, как говорим мы, мясники, нечестно разделанная туша. Мне досталось твоё сердце, а ему – хлыст и подкова на счастье.

Любовь к тебе пересилила во мне любовь к брату. Теперь я жду не дождусь отпуска, когда смогу покинуть жуткий Аль-Аюн с его высохшими колодцами и мёртвыми осликами на дне древних канав.

По ночам мне снится наш гудящий бар на Адельхеймштрассе, холодная кружка “Шультхайса” и твои жаркие губы, пахнущие кислой капустой и пивом.

Вальтер совсем не пишет мне. Почта из России сюда почти не доходит. Но я думаю наше примирение ещё впереди.

Жди меня. И я вернусь. Всем сердцем твой Сильвестр Крумм.

Хайль Гитлер!»

ИНТРИГА

Русская история

Пора было опомниться, собрать чемодан и выйти на первой же станции.

Люди в купе, его соседи, уже ничего не стеснялись. Пожилой полковник лежал на верхней полке в одних кальсонах, а молодая парочка, казах и казашка, откровенно запирались в туалете – их ждал медовый месяц в Кзыл-Орде.

Трое суток совместного пути превратили озабоченных, настороженных попутчиков, какими они были на Казанском вокзале, в распущенных пожирателей варёных яиц, вонючего хлеба и мёртвых кур.

Ардов давно не бывал в поездах. Привычка к комфорту, к уютным двух-трёх часовым рейсам в Берлин или Прагу давно вытравил у него юношеские воспоминания о прокуренных тамбурах, влажном белье и эпилептических припадках хвостового вагона.

Обычно он летал вместе с Габи. За два часа они изрядно набирались шнапсом, затем брали такси и ехали в первый же встречный отель. Наутро Габи стремительно принимала душ, небрежно красилась и бежала по делам фирмы. У неё всегда был горячий график, просто раскалённый – Габи поставляла в Россию что-то неслыханное, кажется, термобигуди.

Проводив Габи, Ардов любил ещё немного понежиться в казённой постеле (он говорил именно так – не в постели, а в постеле), затем лениво подымался, шёл к холодильнику и медленно, с наслаждением, выпивал заранее припасённую Габи баночку “гиннеса” (Ардов любил капризы, особенно изысканные). Потом он неторопливо одевался и, взяв блокнот и диктофон, шёл на прогулку. Были ли это Прага, Бонн или Варшава – Ардову было всё равно. И первая, и вторая, и третья давно уже потеряли для него всю свою невинность. Глаз у Ардова был намётанный, злой, а перо острое. Его репортажи и путевые очерки пользовались успехом. Из ничего, из мухи, из небрежно брошенной фразы он мог сделать настоящий материал, и никто не смог бы оспорить его состоятельности. Курьёзы встречались Ардову на каждом шагу, будь то сумасшедший художник, рисовавший портреты Мэрилин кончиком бороды (борода при этом отрастала с невероятной быстротой – феномен, никак не изученный амбулаторно), или приезжий перс,

предсказывающий будущее состоятельным старым дедам по родинкам на ягодицах.

Поздно вечером, когда возвращалась Габи, они шли в “Айриш-паб” и коротали вечер, до одурения слушая знакомые звуки “лайф мьюзик”. Они были любовниками уже семь лет и поэтому говорили мало.

В тот ноябрьский день, когда случилось то, что заставило его, бросив дела, купить билет до маленькой станции X, в ЦэДэЭле был его вечер. Ардов на бис прочёл свои смешные заметки о злоключениях одного русского папарацци. Публика – знакомые всё лица – изрядно подогретая фуршетом, устроила бурную овацию. Ардов читал ещё и ещё, пока окончательно не охрип. В баре, куда увлёк его большой поклонник Бахуса – критик Разбойный, Ардов, больше всего на свете любивший лёгкое пиво, позволил себе расслабиться. Засиделись за полночь. Когда Разбойный совсем раскис, Ардову стало скучно. Не взирая на отчаянные попытки коллеги затащить его в гости, Ардов решительно отказался. Не смотря на то, что в голове шумело, он рискнул всё же отправиться в Переделкино. Успешно одолев тяготы заснеженной дороги и протаранив по пути сугроб, Ардов наконец добрался до простуженной, холодной дачи.

Оказавшись в доме, он затопил камин и сделал себе крепкий кофе, решив этой ночью осилить давно от него ожидаемую рецензию на книгу французского путешественника Д.

Внезапно кто-то сильно и настойчиво забарабанил в дверь, затем не менее властный стук раздался в окно. Ардов прикрыл абажур пледом и тихо, на цыпочках, подошёл к тёмному стеклу.

«Кто там?» – прокричал он в форточку, пытаясь придать голосу куда-то улетучившуюся крепость.

В полуметре от окна, почти сливаясь с ночью, маячила какая-то невразумительная фигура.

«Милый... милый...» – только и смог расслышать Ардов в той невнятице, что произносил незнакомец. Слегка удивило его только то, что эти сакраментальные слова произносил, кажется, мужчина.

«Идите спать...» – грубо бросил Ардов и захлопнул форточку.

Спустя некоторое время незнакомец угомонился и прежня, ледяная подмосковная тишина окутала дом.

Ардову расхотелось читать. Промучившись с час, он со злобой швырнул рукопись под стол. Туда же отправилась и авторучка.

Проклинаю незваного бродягу, Ардов принял две таблетки феназепам и устроился на кушетке.

Когда он проснулся, за окнами уже рассвело. День обещал быть светлым, солнечным. Через два дня из Мюнхена должна была вернуться Габи. Воспоминание о её скором приезде всегда поднимало настроение Ардова, но теперь смутная тревога не покидала его.

«В чём, собственно, дело?» – задался вопросом Ардов и вдруг явственно вспомнил о вчерашнем визитёре.

«Бродяга? Ну и что с того? Мало ли их шляется по дачам?» – успокаивал себя Ардов, в то время как ноги сами несли его к двери. Он повернул ключ, скинул щеколду, но дверь не поддавалась. Лёгкая паника охватила Ардова. Догадка, ещё не обозначенная словесно, поразила его. Он что есть силы нажал на дверь и с трудом просунул руку в образовавшуюся щель. У самого порога он наконец нащупал то, что служило ему помехой.

Ардов в ужасе отдернул руку. Ибо то, что он понял, действительно внушало ужас. На крыльце лежал насмерть замёрзший человек. Не было сомнений, что это был тот самый, ночной... Ардов заметался по дому, совершенно не зная, что предпринять: вызвать полицию? скорую помощь? сторожа? соседа? Проведя битых полчаса в дикой беготне из угла в угол, он не придумал ничего лучшего, чем выставить раму и вылезти из окна.

Раскалённый морозом воздух хлынул в гостиную. Ардов осторожно обогнул дом и увидел, наконец, то, в чём он уже не сомневался. На крыльце, ничком прикинувшись к двери, лежал человек в тёмном поношенном пальто. Рыжие с проседью волосы. Обнажённые руки закрывали лицо.

Ардов оглянулся на калитку. Дорога превратилась в снежную пустыню. По ней никто не шёл. В окрестных дачах было одиноко и тихо. Ардов понял, что никакой милиции он вызывать не будет...

В кармане бродяги он нашёл грязный, сложенный вчетверо тетрадный лист, на котором химическим карандашом был записан какой-то нелепый адрес: полустанок, улица, женское имя Багира. Кзыл-Орда.

Больше Ардов не нашёл ничего.

Зарыв незнакомца прямо в снег возле одинокой ели на границе участка, Ардов собрал чемодан и поехал на почту. Дав телеграмму Габи, что скоро вернётся, он отправился на вокзал.

И вот теперь, оставив позади трое невыносимых суток пути, Ардов стоял в тамбуре тормозящего поезда. Он и сам не знал, зачем едет по этому адресу, и кто эта Багира, и что она сделает с ним, когда получит его скорбное известие. Но Ардов любил интригу, страх, происшествия. Он ждал чего-то тревожного, яркого, он любил с л у ч а и.

Ему понравилось, как ловко он спрыгнул с подножки, как мастерски поймал чемоданчик, как спокойно выпил в станционном буфете стакан липкого портвейна, как быстро разобрался с незнакомыми улицами и нашёл нужный дом. Ардову нравилось, что с такою же непринуждённой ловкостью и простотой человека мира он будет бродить с Габи по берлинским пивным, говорить с немцами об интерактивном искусстве и писать роман, который принесёт ему мировую славу.

Дом, в полном соответствии с интригой, находился в конце узкой кривой улицы, падающей прямо в овраг. Но когда Ардов подошёл ближе, из его груди вырвался вопль разочарования: все четыре окна дома были плотно, крест-накрест, заколочены.

«Вот тебе и интрига, – промолвил Ардов с досадой, – ехать трое суток к чёрту на рога, чтобы пять минут постоять возле сарая».

Он смял листок с адресом.

«Так нет же, – запальчиво произнёс Ардов, – я всё равно хоть что-нибудь узнаю». Он подошёл к двери и дернул за ручку. К его великому изумлению, дверь покорно отворилась. Внутри была полная тьма. Помедлив, Ардов достал спички и переступил порог. Он сделал несколько слепых неверных шагов. Сердце его отчаянно билось, в висках стучало. Вдруг откуда-то сверху послышался адский свистящий звук. Ардов отчаянно вскрикнул. Жёсткие железные лопасти поглотили его. Он почувствовал, как на его голову обрушивается легион боли. «Милый, милый...» – почувдилось ему...

Спичка, выпавшая из руки Ардова, зажгла кучу ветхого тряпья, и мгновенное пламя, прежде чем охватить дом, осветило и седую от пыли горницу, и человека, неестественно расплостёртого на полу, и лежащий прямо на его груди, с ржавыми, ещё вращающимися педалями, – велосипед.

Казахская история

Жизнь – и жестокие люди в ней, и цвет обрусевшей казахской степи, и обрусевшая, потерявшая весёлые туземные погремушки в голосе робкая, рабская казахская речь, и отлив реки в чёрные лёгкие вечноживущих гадов, и бесплодье высохшего лона жены, и летние бесхитростные звёзды, и зимние безмолвные зори, – всё это и было сутью и душою казаха по имени Серке.

Серке – имя случайное и наречённое сгоряча, у арыка, на пари с краснобаем-соседом, но что не вытерпит младенец, родившийся весом с небольшую кошку от отца с неправильным развитием?

Жизнь Серке – что вам рассказать о ней – любой казах расскажет о ней в метафорах и эпитетах вечных, как узор ковра или тюбетейки. Жизнь Сыктыма интересна нам, сознаёмся, только трепетом одного своего проявления, и больше ничем не важна она нам, пишущим зверям Севера, – ни степью своей, ни речью, ни лоном казахской жены.

Серке унаследовал от отца своего неправильный мозг. Проще говоря, был Серке дурачок-водовоз.

Вода в тех краях редкая, кислая, злая, и её хотят все. Хотели её и в военной русской части, где работал, сказано кем, наш Серке. В военном человеке большой дикий зверь сидит – это известно всякому казаху. И нет в мире такой похоти и такого греха, которого не испробовал умирающий от скуки русский военный солдат.

Явления Серке ожидали все. И не было границ для их святотатства, и на влажной спине казаха, на тёмной, единственной рубахе его, всегда белела цинично пришипленная канцелярской кнопкой записка: «люблю любого».

И Сыктым вёз эту надпись, и призыв этот, как призыв и слёзы не его Бога, расплывался и распространялся по степи пустой, бездыханной.

Люблю любого! – кричал дикий куст в ответ на безумную проповедь казахского Моисея, и на тонкой, хирургической остроте его зажигался магический огонь.

Люблю любого! – цыганило небо, раскрывая жадную пасть старухи-Земли.

И падала на землю, усыпленная сонным зельем, полуживая сыктымова кляча, и вместо лучших лепёшек в мешочке с едой оказывался мёртвый суслик, – и не

перечень всего, во что облекалась трагедия вечноживущих перед тем, как слиться ей с эпосом долгожданной Вечности.

Серке любил звуки Великого Радио. И тайну извлечения их особенно любил он. Как менялось, как радостно морщилось его лицо, когда трясущийся от хохота дневальный, подкравшись, неожиданно и резко поворачивал засиженный мухами рычажок и откуда-то из-под жжёной земли, из-под засухи и черни, из-под дикой травы степей вырывался звук или голос, и столько воды – редкой, злой и кислой – было в этом голосе. Целый источник бурлящей, бурой, горькой воды.

Сыктым не знал, откуда берутся Радио и Вода.

Сыктым был глуп, вечно юн и древен.

Но он любил всё неизвестное любовью доверчивой новорождённой кошки, и слепы были глаза его, но уже предвкушали свет.

И был день, когда отняли у Серке его звуки. В тот миг его слух ласкала коварная, правильная речь нового маленького диктатора, и музыка её, умилительная и проворная, веселила простодушное сердце казаха.

Вдруг – всё. Музыка стихла. Диктатор стих. Тишина, безотказная, как судьба, заложила уши, упразднила слух.

С бушующим горем в сердце кинулся Серке – и встретили его голодные, затаившие грязный смех.

«Электричества нет», – ответствовал пошлый военный голос.

«Где же электричество есть?» – робко, волнуясь, глотая слюну горя, спросил казах.

«В соседней части есть. Принеси».

«Сколко, сколько принести-то его?»

«Мешок».

И когда он ушёл за мешком электричества, ушёл один, без спящей клячи, почти босой, в полдень мёртвого лета, дневальный снял потную трубку и, давась и фыркая от хохота, пролепетал:

«Ушёл. Как придёт, положи ему в мешок плитняк».

А по пустыне, за лучшей своей мечтой, разбивая чистотой своей иллюзии мыльные пузыри беснующегося смеха, окружённый вокруг неправильной своей головы оранжевым нимбом безумия, шёл Казах За Радио, и пленные радиоволны покорно шли за ним вслед, слагая в его честь прекрасные гимны Разуму и Здоровью.

Цыганская история

Задумчивая, затхлая земля, весёлая, как старуха-столетка, забывшая все запахи жизни, все лакомства её быстротекущей тризны, путающая головы внуков и маков, называющая дочь именами угодников, присочиняющая в умилении бесстрастные слова затянувшейся исповеди. Такова пригородная Московия, свежая и горькая, как саван, дремучая, глухая и хищная, как сова. И только хищникам – ловким и ладным – живётся в ней.

С поезда ссадили цыганку. Оглядев тупым, но зорким глазом пространство отпущенной и нежеланной воли, цыганка топнула ногой и плюнула в землю густой, взволнованной жижей. Станция была маленькая, да и не станция вовсе: стоял под небом пустой, заколоченный домик, словно памятник человеконенавистнику.

Цыганка всмотрелась. Вдали, просвечивая сквозь тоску деревенского вечера, таились тусклые огоньки. Туда и побрела торопливая гостья, и ни имени её, ни лица не запомнили небо, дорога, домик.

Было лето – скажете вы. Возможно. Возможно, в нём были запахи и звуки, и много во что-то обращаемой страсти, и лился пот с ненасытных любовников, и кто-то впервые узнавал про кита и бывшего в нём человека, и сирень наизусть выучивала человеческое слово «красиво», но нет ни в ком ныне свободы живых, неописанных слов, душегубов молчания дара.

Цыганка – о чём она думала? О чём думает берёза? О зарубках для сока, о бересте, пошедшей на язык. Есть огромная, великая тайна ничего не значащих людей.

Задумчивая, затхлая земля. По ней идёт задумчивая, затхлая путница. До деревни далеко, но она, кажется, не знает счёта, и всё ей чудится близко, просто.

И с тою же урождённой свободой хищника, живущего от жертвы к жертве и не знающего другого исчисления времени, цыганка стучит в окно, что всех ближе, весело, страстно и дико входя в жизнь тех, что с краю.

«Ты цыганка и есть. Золотая, ить, вылитая, и волосики у тебя, ить, золотые, чернявенькие, и глазки косые. Вестимо, цыганка, умница, хозяйка большая, табору зависть, цыгану утеха», – воркует она некоторое время спустя хозяйке – пожилой, но не старой, которая, сонно и угрюмо сощурясь, смотрит, как заблудшая гостья с

аппетитом пьёт, не обжигаясь, из горячей, алюминиевой кружки колючий, прокисший чай.

Цыганка говорит фальшиво, но убедительно. Она говорит дикие, бессмысленные слова, но произносит их страстно и громко, и женщина, молчаливая, скупая, поневоле ввязывается в эту игру шипящих, заводится, начинает говорить сама, говорит долго, скушно и косно. За стеною, в другой комнате, лежит в постели хворобый её муж. Каждый час он пьёт таблетки от боли. Если не выпьет таблетку, умрёт. Она купила это лекарство, дорогие таблетки в зелёной целлюлозе, на последние деньги, продав вещи и питание.

Сказала – и облегчила тёмную душу. Часть ночи минуло. Вставала. Уходила кормить больного, давала пилюли. Постелила цыганке, дала тряпье. И никого, ничего не боялась. Дом был пуст, чист и красен был каждый его угол.

Сошли долгожданные сны, как дети самого милого возраста: гладили узкими ручками, говорили что-то ласково, глупенько.

Цыганка встала – встал недреманный, гордый и низкий хищник. Вздрогнула старая хозяйская кошка, почуяв подругу по хищному оскалу и фырку. Бормоча злые, бессмысленные слова, цыганка бесшумно и радостно прокралась в комнату больного, порылась у изголовья и, смахнув чёрствой ладонью тараканью горку, вытащила зелёные, пахнущие соблазном лекарственные пачки.

Скрипучая, свирепая, тихо отворилась дверь. Цыганка чуть замерла на пороге, сплунула на ступень и исчезла.

Исчезла – туда, в бег, в бегущий наугад поезд, в дела невидимой, жестокой жизни, роскошно плодоносящей на погосте задумчивой и мёртвой земли.

СМЕРТЬ САНИТАРА

Афганская история

«Ради Бога, береги свою руку, я боюсь, как бы ей не повредило путешествие».

*Из письма Е.Н.Гончаровой к Ж.Дантесу в Тильзит.
Февраль 1837 г.*

Он лежал на спине и думал: вот ведь и Пушкина ранили в живот, и бледный Дантес нёс его на руках, как больного ребёнка.

Был мягкий приглушённый вечер, сухая зима, крепкий ледостав на Неве и горький подмёрзший воздух.

Ему не хотелось параллелей, но измождённый инъекциями мозг уже не мог стирать случайно пробуждённые в нём черты.

Летающая длиннохвостая петарда, смуглое раскосое лицо медсестры, моющей гладкие, шёлковые волосы, походка случайной женщины, её глаза, её ступни в перламутровых босоножках, белая ночь на Фонтанке – всё это приходило и оставалось, но не прогоняло того зловещего числа, которое над ним нависло.

27-го января, в шесть часов пополудни, он стоял под навесом. В металлическом погребце кипели шприцы. За ширмой стонали. Он резал стерильные и белые, как куски хорошо проваренной курятины, бинты резкими, длинными полосками.

Прошёл с непроницаемым видом хирург, где-то суетились ординаторы, готовилась сложная операция «с недвижимостью». Вчера привезли двух обожжённых, и никакой сквозняк не мог прогнать сочащийся по всем палатам запах гниющей, изуродованной плоти.

Войны он ещё не знал, хотя она незримо присутствовала рядом, отдаваясь в ушах то заглохшей канонадой, то санитарной колонной, въезжающей в лагерь.

Сестра писала тёплые письма, он поспешно отвечал ей, мучительно ощущая, что ни о чём не знает и ничего не видит.

Обманчивая внешность войны вызывала в нём только чувство вины перед напрасно покинутым домом.

Высокие, как сибирский лес, ежедневно вставали перед ним бессонные горы.

«Удивительно некрасивы, – говорил хирург, приходя к нему ночью за спиртом, – не чета нашим. Слово драконьи зубы растут».

Он соглашался, он любил хирурга за ровный характер и постоянный, один и тот же холодный тон со всеми, с кем приходилось иметь дело.

Работы было много. Свежий запах и вид крови были столь же привычны, как запах ландышей в майском лесу.

Он рос в детдоме и умел оставаться бесстрастным даже тогда, когда приходилось ассистировать хирургу.

Иногда он подменял сиделок, и это было ему столь же привычно, как одинокая ночёвка в лесу.

...Единственное, первое и последнее, что он понял о пуле – её отсутствие и необратимость. Ни слух, ни зрение не способны опознать пулю. Он мог бы

услышать, как лопнула тугая натяжка навеса, но не услышал и этого.

Было ясное ощущение того, что резко схватило живот: жёсткий приступ и всё пройдёт. Но почему-то стали влажными виски, голова стремительно, как на качелях, закружилась, скользкие руки отказались повиноваться, а ноги предательски стали ватными.

Боли он не чувствовал, но знал, что она есть, и если ей дать волю, она опрокинет его, задавит, и он уже никогда не очнётся.

Он лежал головой к окну, совершенно один в узкой белой комнатке-загончике для умирающих. Впрочем, иногда заходила сиделка, приходили врачи с участливыми осунувшимися лицами, заходил подвыпивший хирург, молчал и тряс головой. Все они говорили что-то, так же мало относящееся к нему, как тот шум, который производила за его головой пёстрая жизнь лагеря.

Вскоре комната наполнилась длинными тенями книжных полок, заполненных золотом и сафьяном. Из-за книжных переплётов раздавались жалобные звуки и райское пение.

Потом исчезли белые халаты, смахнула, как бабочка, чистейшей прелести Наталья Николаевна, и в комнате остались только странные имена: Геккерен и д'Аршиак.

Лёгкие, как дрожки, пронеслись по Невскому дуэльные пистолеты, проплыли в январском небе окровавленные крылатки, прокатились тёмные печальные барьеры.

И стало ясно, что вся его прежняя жизнь – только прелюдия к пуле. Нахлынул ветер и осел в роще. Из свежего сугроба выскочил заяц и заюлил.

Пушкин навёл тяжёлый, злой от холода пистолет и, опершись на левую руку, промазал. Франция была контужена в руку, Россия убита.

Секунданты поменялись экипажами. На другой день скрупулёзные газетчики сообщили, что Пушкин ранен пулей в нижнюю часть брюха.

...Какого чудного зверя подстрелили сегодня в зимнем лесу! Какая удача охотника. Трубит весёлый рожок, страстно полыхает камин, пенится ледяное Аи.

Да здравствует пуля – верхом на полёте шмеля. Жалаящая, ибо сердце её как губка, пропитанная уксусом и пощадой.

...В два часа пополудни “закатилось”. Санитар Пушкин умер в Газни.

Она лежит рядом, хотя я гожусь ей в отцы. В какие отцы? Лена, Леночка. Уютное вымышленное сочетание несочетаемых кровей – узбекско–римских. Глаза и брови Клеопатры, волосы вокзальной цыганки, нос патриция, губы шарпея.

Тела – они смешиваются в расовой палитре, как под кистью шизофреника. Несочетаемые объёмы тел прилаживаются, полируются, трутся друг о друга, как галька о гальку или песок о песок. И вот уже дюжий монгол, обёрнутый в курчавую кожу араба, приносит мне телеграмму и ждёт чаевых. А в баре не переводится белокурый японец с татарской ноздрёю.

Она лежит рядом – вымышленное дитя Востока. С ней я проживаю её жизнь, сто её жизней и свою, частично прожитую.

Итак, сто её жизней.

Она родилась там, где всё смешалось: языки, культуры, судьбы. Он, этот древний Ташкент, всегда был не то на задворках Запада, не то на сносках Востока. Обложенная со всех сторон, как перхотью, хлопком, его голова кишела вошками населявших её ничтожеств – собирателей хлопка. Хлопок был всем, его почти ели, на нём спали, играли, любили друг друга, его видели во сне и наяву, просыпаясь.

Леночка росла в классе, полном расовых противоречий. Учителя географии, юркого старика-немца, звали «блевотина» из-за гордой остзейской фамилии Блаверниц. Зато другой учитель нареканий не вызывал, хотя на русское ухо звался сомнительно – «Патхулло». Впрочем, были и Джавлод и Хамид, и Гульбан и Дурдона. Но мне не до них.

Папочка Лены, Марат, был культом семьи. Природный узбек, художник, он рисовал то, что больше просилось в рот, а не на бумагу. Настоящие сливы и дыни лишались чувств, взглянув на его вымышленные. Виноград в отчаянии выплёвывал косточки, увидев, каким бы он мог быть в идеале. В тридцать лет Марат стал народным, и в лучах его славы утонуло всё – и жена, и дочь, и нарисованные им фрукты.

Мать Лены быстро переквалифицировалась из профессиональной лыжницы в какое-то тихое, бледное существо с обречённой любовью и безрадостным будущим.

То были последние годы владычества. Поколения, столь разные по крови, во всех краях Владычества жили одной и той же придуманной жизнью. Какая великая и нелепая сила заставляла учителя Патхулло, чей род клубился и ветвился от Улугбека, плохо, но с пафосом и нажимом читать поэмы Маяковского, лесенки которых могли привести его только на эшафот? И почему Гуля и Диля, созревшие, как две черешенки, к столу богатого мамелюка, учили наизусть трудности русского языка?

И вот уже они все – и Гуля с Дилей, и Джавлод, и Хамид, и Дурдона собираются в маленькой комнатке Лены и пьют всё подряд – и пиво, и вино, и водку, а Лена под гитару поёт то, чего и так кругом навалом – эти пряные, не имеющие ни подлинных чувств, ни пола, ни границ песни владык. И Джавлод – лишь отчасти Джавлод. А отчасти ничтожество, которое даже не догадывается, зачем когда-то в детстве лишилось крайней плоти. И Гуля с Дилей – лишь отчасти Гуля с Дилей, а отчасти немые призраки хлопкового поля.

А Лене нравился Хамид. Они вместе ходили в музыкальную школу, а потом, запершись, молча сидели у Хамида. Долго, часами. Ничего не говоря, а только смотрели. И Лена могла часами изучать малопримечательный череп Хамида, и ей и в голову не приходило, что из черепа Хамида печенежский царь Куря никогда не испил бы чаши. И Хамид – проходили дни – мог часами смотреть на Лену, и ни один мускул не вздрогнул в нём при виде её набухшей кофточки.

А потом всё странным образом изменилось, надвинулось. Лена забросила гитару и стала рисовать, а русские Ташкента потянулись гуськом на Запад. Но всё это случилось не сразу, а строго по очереди. Сначала Марат ушёл из дому к другой полукровке с детьми. Потом Лена съездила в Керчь к своей бабушке и потеряла невинность. Как это случилось, она помнит с трудом. Была знаменитая дискотека в порту (сколько их потом будет), своя шпана и матросы. Но в третьем часу ночи своя шпана и матросы уже приелись и ей вдруг необыкновенно понравился один – маленький, рыжий, в наколках. Константин – это всё, что от него осталось, – принёс пьяную Лену в портовый сарай, привязал к железной койке и изнасиловал.

Погоревав, Лена возвращалась домой как на крыльях – мама в письме сообщила,

что её живописью заинтересовался арабский посол.

В посольских покоях было как в волшебной стране. На маленьких ковриках стояли золотые кальяны. На стенах висели грозные портреты Саладина и Бей-Барса. Украшенный изумрудами Коран лежал в изголовье маленького топчанчика.

Принц Аметист (назовём его так) смуглой ручкой полистал Ленины рисунки и предложил выпить каркаде. Каркаде тотчас явилось в маленьких рубиновых чашечках ближе к топчанчику. Принц Аметист усадил Лену, небрежно сбросив Коран на пол. Он долго молчал и этим напомнил Лене Хамида. Наконец, после длительной паузы, он что-то спросил на арабском. Лена из вежливости кивнула. Тотчас в принце произошла разительная перемена. Он поклонился, а затем стремительно скрылся за ширмой. Лена не знала, что и думать, – то ли ждать гонорара, то ли напрямую раздеваться. Она мужественно готовилась ко всему, но то, что произошло дальше, не шло ни в какие ворота. Неожиданно из тех же ширм, куда скрылся принц, выпорхнули две посольские пери с ворохом атласных одежд. Пока одна пери всё это держала в охапке, другая подошла к Лене и потянулась к Лениным джинсам. «Всё, – подумала Лена, – сначала они, а потом присоединится он в извращённой форме». Ей вдруг остро захотелось укутить пери за локоть, но голос благоразумия сказал ей: «что ты, Лен, здесь же приличные люди». Лена закрыла глаза и отдалась во власть ласковых рук. Её раздели до трусиков, а затем стали одевать в тот самый атлас. Пери работали вдохновенно, и вскоре голова Леночки уже въехала в огромный тюрбан со страусиными перьями. Затем пери мгновенно испарились. Леночка облегчённо вздохнула – он будет один. И тут из-за ширм как-то сразу вышел принц Аметист. За ним шёл слуга, неся на подставке огромный сверкающий ящик. Пододвинули столик и ящик раскрыли. Это оказались шахматы. Лена где-то уже видела такие – были они из слоновой кости и представляли собой полное восточное войско – от владыки до пешех воин. Расставив фигуры, слуга спросил Лену на плохом русском, не желает ли она чего. Леночка воспользовалась шансом и немедленно спросила, что это значит? Лицо слуги сначала нелепо вытянулось, соображал он скромно, но затем, путаясь в словах, он всё же сумел объяснить, что принц Аметист предложил ей сыграть в шахматы в шумерском стиле и в одеждах той

эпохи. Это самое любимое развлечение принца, он играл в эти игры и в Германии, и в Венгрии, и в Японии. Въехав, наконец, в содержание изложенного слугой, Лена приободрилась и вспомнила почему-то рыжего, Константина, любившего её без всяких шахмат на ржавой койке под шум прибора.

В шахматы Леночка играть умела. Её научил Марат, но, когда к восьми годам, она поставила ему детский мат, он бросил шахматы в печку и на три дня ушёл из дома «писать натюрморт».

Игра завершилась миром. Леночка подарила Принцу свой лучший пейзаж – «Вид из окна моего дома на угол твоего дома». Пери проводила её, предварительно отобрав тюрбан.

Спустя год Марат бросил живопись, занялся бизнесом и неожиданно разбогател. Ленина мама, рыдая, уехала в Керчь поклоняться своему горю. Лена стала собираться следом, но неожиданно позвонил Марат и дрожащим голосом сказал, чтобы она продолжала его дело.

«Езжай в Суриковское, – с надрывом сказал отец, – я оплачу учёбу».

Лена не знала, что и думать. Марат мало замечал её раньше, а если и замечал, то только для того, чтобы показать строгость. Но это была надежда. её надежда. Что ждет её в Ташкенте? Дальмод, который стал ваххабитом? Владелец шашлычной Хамид? Или неожиданно “порозовевшие” Гуля и Диля?

Она приехала в Москву в октябре в собольей шубе и с гитарой. Шубу умолила взять мать, говоря, что в России бывают морозы.

В общежитии суриковского её поселили ещё с двумя девочками – Надей и Алданай. Алданай была якутка строгих правил и изменила строгим правилам только однажды – с тихим вьетнамцем Нгуеном. Её измена заключалась в том, что они иногда ели рис из одной миски.

Зато Надя была её антиподом. Больше всего ей нравились наёмные рабочие, ремонтировавшие общагу. «Посмотри, Лен, посмотри, какие у него руки, у этого Димы», – говорила она, указывая на пьяненького штукатура, который никак не мог вернуться к себе в Краснодар, так как постоянно проигрывал деньги в азартные игры.

Лене стало грустно. Ещё целый год учиться на подготовительном, а рядом никого. И огромный, жгучий, невероятно высокомерный город. Но спустя месяц

произошло чудо. У Марата в Москве оказался знакомый художник. Вскоре Лена познакомилась с компанией его сына. Сына звали Тимур. Он тоже был полукровкой. К тому же, красивой полукровкой. Но в этой компании Лена чувствовала себя большой. Все приятели Тимура, да и он сам, были младше её. И эту разницу в возрасте не испуало ничто – ни лёгкая дурь, ни выпивка. И всё же Леночка полюбила Тимура. Ей приходилось самой затаскивать его в постель, но в постели он поступал однообразно и строго – засыпал сразу. И всё же, когда грянул Новый год, ей не хотелось оставаться одной. Алданай уехала в Якутск, Надя запила со строителями в каптёрке. Оставался только Тимур.

Накануне Леночка получила посылку от мамы и бабушки из Керчи. Это были продукты на январь. Она решила отвезти всё это к Тимуру и встретить Новый год там. На звонки Тимур не отвечал, но Лену это не смутило. Она приехала и сама позвонила в дверь.

Дверь открыл заспанный Тимур.

«Зачем ты приехала? – спросил он, – мы такие праздники не отмечаем».

«Да вот, продукты, кизиловое варенье, бычки».

«А, бычки, ну давай».

Ленкины продукты исчезли за дверью. Возвращаясь, Ленка даже не плакала. В конце концов, Новый год с шампанским и бульонными кубиками тоже неплохо.

Зима и весна пролетели без особых эмоций. В июле её, наконец, зачислили на платное отделение, и она тут же уехала в Керчь. Портовая дискотека связала нас там...

...В человеческом теле, как в маленьком сундучке, сложена вся его жизнь. Я лежу рядом с ней и медленно перебираю содержимое её маленького сундучка. Как мы встретились и кто мы друг другу? Кажется, я напоминаю ей Марата. Маленького узбека, разбогатевшего на сетевом маркетинге. Какая дичь! Кого напоминает мне она? Да никого не напоминает. Она – это вечное лицо моей безрассудной и авантюрной жизни. Она – одновременно то, чем я не стал и не хотел бы стать, просто похоть и просто собеседник, иногда близкая душа, иногда паноптикум. Наверное, всё дело в обманчивом чувстве сходства. Ведь спросила же она вчера задумчиво: «если змий нашептал Еве по-сатанински, может и Марии возблаговестить по-архангельски?»

А я только утром вспомнил, что это Сковорода.